

# РОМАНТИКИ



КОНСТАНТИН  
ПАУСТОВСКИЙ

Константин Паустовский

**Романтики**

«Мультимедийное издательство Стрельбицкого»

## **Паустовский К. Г.**

Романтики / К. Г. Паустовский — «Мультимедийное  
издательство Стрельбицкого»,

Романтическая проза Константина Паустовского... Она, как и многое в творчестве писателя, глубоко поэтична. Роман «Романтики» не является в прямом смысле автобиографическим, скорее он напоминает лирические дневники. Три части этого произведения соответственно отражают три периода жизни главного героя, отличаются своей внутренней атмосферой. Очень тонко и мастерски описаны взаимоотношения между двумя любимыми женщинами главного персонажа романа.

© Паустовский К. Г.  
© Мультимедийное издательство  
Стрельбицкого

# Содержание

СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЕЧКО	5
I. ЖИЗНЬ	9
Старый Оскар	9
О творчестве	12
Смерть Оскара	14
Жучок	15
Конец ознакомительного фрагмента.	17

# Константин Паустовский

## Романтики

### СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЕЧКО

#### Предисловие Вадима Паустовского

В творчестве Константина Паустовского особое место занимали «Романтики» и «Повесть о жизни». Первое произведение знаменует начало творческого пути, второе – его конец. Но вместе с тем есть в них и известное сходство. И если «Романтики» вышли в свет в виде сравнительно небольшой повести, то лишь потому, что они были сокращены самым безжалостным образом. «Повесть о жизни» писалась более двадцати лет, «Романтики» – около двадцати. Даты 1916–1923, проставленные в конце этой книги, следует понимать условно. Верна только дата начала, в самой же книге частично отражены ситуации, имевшие место уже в конце 20-х годов. Отец не отразил того, что неоднократно возвращался к рукописи, дополнял ее, изменял те или иные эпизоды, устранял отдельных героев и вводил новых, непрерывно продолжал совершенствовать стиль. И так почти до середины 1930-х годов, когда впервые предоставилась возможность ее опубликования.

Объединяет эти книги еще и то, что они написаны от первого лица и обе в большой степени автобиографичны, в то время как отдельные места от первого лица, скажем, в «Кара-Бутазе» или «Черном море», носят скорее условный характер.

Ни одна из его книг не вызывала столько разноречивых отзывов, как «Романтики». Кто полюбил ее в ранние годы, сохраняет к ней привязанность и позже. Запомнились слова молодого врача, совпадающие с моим восприятием книги:

– Когда перечитываю «Романтиков», каждый раз словно озонируюсь. Не знаю почему. И совсем независимо от содержания... Там есть что-то такое «между строк». – После этого он неожиданно произнес фразу, сказанную одним из героев книги: – Блеск и величие жизни!

Для отца в пору его молодости «Романтики» стали своего рода лирическим дневником, второй жизнью, жизнью в воображении, без которой он не мог существовать. Он повсюду таскал с собой неоконченную рукопись, называя ее в дневниках и письмах «Мертвая зыбь». С годами рукопись разрослась необычайно.

«Повесть о жизни», казалось бы, мало похожа на «Романтиков», но все же можно проследить явную их преемственность. И не только в отдельных совпадениях (фронт 1914–1916 гг.), но и в привычке автора дополнять и преображать реальную жизнь, в первую очередь свою собственную.

Отец прожил сложную и далеко не легкую жизнь. Много из нее отражено в этом большом биографическом романе, но многое и не отражено. Он жил вместе со страной, скитался по стране в дни тяжелых для нее испытаний, не раз подвергался смертельной опасности, перенес потерю многих близких людей.

С самых ранних лет он стремился к писательству как самовыражению и научился очень многим жертвовать для своей творческой работы.

В личной жизни он был далеко не однозначен. Мог быть и снисходительным, и нетерпимым, не раз обретал и терял друзей, трижды был женат, причем все его жены были личности незаурядные.

Мои родители познакомились в конце 1914 года, когда оба работали в санитарном поезде. В следующем году сестра милосердия, как тогда говорили, Екатерина Степановна Загорская возвращается в Москву.

Несколько слов о ней. Она родилась в Рязанской губернии в семье сельской учительницы и священника. Рано потеряла родителей и воспитывалась старшей сестрой Лелей (Еленой Степановной Загорской), преподававшей в гимназии города Ефремова. Училась в Рязанском епархиальном училище, затем на Высших женских курсах в Москве. Завершила образование в Париже.

После работы в санитарном поезде она уезжает в Севастополь, где преподает французский язык в Мореходном и Коммерческом училищах. Оставив полевой санитарный отряд, отец едет следом и приезжает к Екатерине Степановне (уже невесте) в Севастополь. Потом оба оказываются в Таганроге, откуда возвращаются в Москву.

Летом 1916 года они венчаются в ее родном селе. В блокноте отца есть такая запись:

«Поля, перелески, синие дали – ея Родина.

У ветряной мельницы. Подлесная Слобода. Церковь. Могила мамы. Запущена, вся в травах. Их сад. У о. Алексея.

Простенький деревянный домик. Матушка с заплаканными глазами. О. Алексей аскет, немного суровый. Чай. Дали за окном. С девочкой Надей в их сад. Хатидже радостна, как девочка... К Аксюте – няне Хатид-же. Ея уютное ласковое детство, овеянное любовью...»

Почему – Хатидже? Просто так ее называли молодые татарки в крымской приморской деревушке, где она проводила предвоенное лето. Отцу очень нравилось имя Хатидже – так по-татарски звучит Екатерина. Так оно вошло в его письма и дневники тех лет, так он ввел его в «Романтиков».

В тревожном 1917 году они сотрудничали в московских газетах и журналах, а весной 1918-го перебрались в Киев, к матери отца. Затем с 1919 по 1922 год – Одесса, совместная работа в газете «Моряк». Мама заведует иностранным отделом, отец – редактор. После Одессы – скитания по Югу. Сухум, Батум, Тифлис. В 1923 году – возвращение в Москву, поиски работы, сотрудничество в разных журналах, жизнь за городом, в Пушкине, затем первая комната, уже своя, в подвальчике, в Обыденском переулке, где я появился на свет. Вскоре и квартира на Большой Дмитровке.

В «Повести о жизни» и других книгах отца отражено много событий из жизни моих родителей в ранние годы, но, конечно, далеко не все. Немало рассказов об октябрьском перевороте в Москве, о гражданской войне на Юге, о голоде в Одессе, тропической малярии и неистребимом людском жизнелюбии я слышал еще в детстве. И должен сказать, что в устном исполнении очень многое оставляло более сильное впечатление. Даже чисто «литературно». Хотя бы эпизод, как отца чуть не расстреляли по ошибке. Или веселую историю о том, как мама в блокадной Одессе с большой точностью предсказала начинающему Бабелю его будущий литературный успех. (Это обстоятельство косвенно нашло отражение в «Романтиках», где девушки-татарки приходят к Хатидже гадать по руке.)

Итак, Хатидже – если не двойник Екатерины Загорской, то все же обладает с ней несомненным сходством.

Имеют своих реальных прототипов и другие персонажи «Романтиков», причем в «Повести о жизни» они нередко названы собственными именами. Истории из жизни журналиста Василия Регинина (в частности, приключение со львами) дали материал для образа Любимова. Начальник санитарного отряда Вронский встречается в «Романтиках» как Козловский, в «Повести о жизни» он назван Тройским.

Все годы учения в гимназии отец сидел за одной партой с Эммануилом Шмуклером (1892–1957), впоследствии художником. Их дружеские отношения продолжались и впоследствии. Шмуклер стал прототипом Винклера в «Романтиках», а черты другого своего гимназического друга – Евгения Станишевского приданы Станевскому. Однако Шмуклер вовсе не

погиб в юности, а дожил до почтенных лет, а Станишевского, как признается автор «Повести о жизни», он после гимназии потерял из виду.

Как видим, персонажи отнюдь не совпадают с прототипами и с жизненным материалом писатель обращается весьма свободно.

Особенно ярким примером служит история «старого Оскара» и потерянной оперной партитуры. Прототипом этого персонажа был Оскар Федорович Иогансон (р. 1858) – преподаватель немецкого языка в 1-й киевской гимназии, где учился отец. Подробно эпизод с потерянной оперой рассказан в «Повести о жизни», и мы знаем, что он завершился вполне благополучно.

Однако в «Романтиках» Оскар умирает. Возможно, романтический настрой автора требовал трагических ситуаций и сильных переживаний. Умирает и Винклер, хотя его прототип остался в живых, умирает Наташа – так же как героиня «Повести о жизни» Леля Свешникова.

Об этих героинях следует сказать подробнее и вернуться к «женской теме».

В «Романтиках» присутствует одинаковая по силе любовь главного героя к двум женщинам, что не редкость в мировой литературе. Но нередко многие авторы сами относятся к этому факту с недоумением, не вдаваясь в психологические сложности. Паустовский хочет разобраться в своей любви как в стимуле к творчеству. Именно в любви к двум.

Он отстаивает право на такую любовь, даже за счет вымысла. Ведь только одна из героинь соответствовала прототипу, существовавшему в действительности в его жизни на протяжении значительного отрезка времени. В облике другой – собраны воедино образы, порожденные несколькими увлечениями, достаточно сильными и искренними.

Но читатель не подозревает об этом. Он уверен в «образной цельности» и в реальности второй героини, как и первой. Вымысел приобретает убедительность самой жизни и, может, даже превосходит ее. Не в этом ли и заключается сама сила литературы?

Обе героини «Романтиков» очень обаятельны, но крайне не похожи одна на другую. Они дополняют друг друга и, возможно, в целом создают тот собирательный женский образ, что так мучительно ищет главный герой книги.

Если с прототипом Хатидже все ясно, то с образом второй героини книги – Наташи – дело обстоит сложнее. Здесь можно говорить о нескольких прототипах сразу.

На фотографии времен Первой мировой войны – сестры милосердия и санитары полевого санитарного поезда 226 вместе с главным врачом Иваном Петровичем Покровским. Среди сестер – Екатерина Загорская (Хатидже). Но в данном случае нас уже интересует и прототип Наташи. Это Елена Крашенинникова, или попросту Леля. Ее имя затем использовано в «Повести о жизни», где героиня, заболев, умирает на фронте, как и Наташа в «Романтиках».

Однако подлинная Леля не умерла. Вернувшись в Москву, она стала артисткой и играла в театре-студии Фореггера в 1920-х. Мои родители не раз были на спектаклях, встречались с ней и в дальнейшей жизни. Эта «цепочка» объясняет, почему у автора «Романтиков» героиня – артистка. Но по имени она пока еще не Наташа. Она получила это имя, по утверждению моей матери, после знакомства отца с сотрудницей РОСТА Наташей Морозовой.

И у Наташи Морозовой, и у Лели Крашенинниковой оказалось много общего в характерах – некоторая капризность, резкость, склонность к неожиданным поступкам. Все это было совсем не свойственно Екатерине Загорской, но, видимо, сочетание контрастов женских образов привлекало писателя. Это к тому же давало простор воображению.

Поэтому, когда ко мне обращались читатели, и в особенности читательницы, с неизменным вопросом о Леле: «была – не была», я обычно уклонялся от ответа. Единственный раз сделал исключение для пожилой тетки моего друга – Софии Владимировны Т. (это было еще при жизни отца). Человек очень интересной судьбы, она объехала полмира, кого только не знала – от последних народовольцев до членов императорской фамилии. Разговаривать с ней всегда было исключительно интересно, но каждый раз она начинала мне читать свое любимое

место из «Повести о жизни» и, конечно, – о смерти Лели. Кончилось тем, что я выложил ей правду и к тому же веско аргументировал ее. Она очень опечалилась и сказала:

– Я, разумеется, понимаю, что вы правы, но лучше бы вы мне этого не говорили...

Потом словно спохватилась:

– А колечко? То самое серебряное колечко, что ваш папа снял с руки умершей Лели и надел себе на мизинец. Он об этом писал. И он до сих пор носит его. Я была на литературном вечере, где он выступал, специально подходила поближе и очень хорошо все рассмотрела. Спросите у него, когда увидите...

Это меня заинтриговало, и при первой же встрече с отцом я все рассказал ему. Он слушал точно с таким же грустным выражением, как и у Софии Владимировны. Потом не спеша протянул руки, на которых, как обычно, не было никаких колец... Так кончилась эта маленькая история о том, как простой читатель сумел проявить силу воображения, равную писателю.

Смерть Лели в «Повести о жизни» нельзя считать вымыслом, скорее это символ. Но символ не абстрактный, а воплощенный в конкретную драматическую ситуацию. «Война не есть дело человека» – вот истина, которую Паустовский усвоил для себя и как писатель хотел, возможно, наглядно донести до других. Видя войну «изнутри», он решил также «изнутри» показать ее плоды литературно.

Он потерял на войне двух братьев, но описал гибель любимой женщины и тоску оставшегося мужчины, потому что союз мужчины и женщины составляет основу жизни. Сам он, однако, не утрачивал на войне любимую, потому и собрал воедино черты нескольких героинь, чтобы создать более убедительный образ.

В третьей части «Романтиков» отсутствуют обе женщины, в которых влюблен герой, их место заняли фронтовые соратники. Лишь в конце как бы пунктиром появляется Наташа, чтобы вскоре умереть, а завершает книгу реплика Хатидже. Но в «Повести о жизни» обе героини как бы сливаются воедино в образе Лели Свешниковой, даже по чертам характера, и ее гибель становится главной потерей продолжающего жить еще многие, многие годы главного героя.

Две его основные автобиографические книги словно протянули друг другу руки.

*Вадим Паустовский*

# І. ЖИЗНЬ

## Старый Оскар

Была привычная горечь в этих разговорах со старым композитором в темном кафе.

Старик был еще строен для своих шестидесяти лет. Когда бывал пьян, то плакал, поносил свою службу – он был учителем немецкого языка в гимназии – и пытался незаметно засунуть в рукава исписанные нотами манжеты.

Он написал фантастическую оперу. Ни один театр не соглашался ее поставить, хотя старик уверял, что она не хуже вагнеровского «Тристана».

– Посмотрите на мои пальцы! – вскрикивал он и жалко тряс головой. – Это пальцы для клавиш и струн. О Генрих Гейне, Генрих Гейне, зачем он умер так рано! Я люблю старую западную жизнь, этих людей, которые умели смеяться и понимали музыку. Я люблю даже всех вас, хотя в гимназии вы издевались над Новалисом. Сотни раз я говорил вам: «Не пристраивайтесь к жизни. Скитайтесь, будьте бродягами, пишите стихи, любите женщин, но обходите за два квартала солидных людей».

Мы молча пили кислое вино и курили. Южный город шумел под белыми сентябрьскими звездами.

Пришел Сташевский – уверенный и насмешливый. Старик устало улыбнулся и замолчал.

– Блеск и величие жизни! – сказал вдруг Сташевский, пуская густые клубы дыма. – Блеск и величие жизни, – повторил он и замолчал. Говорил он отрывисто. Связь между его словами была неуловима для человека, плохо знавшего его.

– Оскар! – восторженно выкрикнул он. – Оскар, напишите оперу, чтоб в каждой ноте редела жизнь. Понимаете, жизнь дурашливая, крикливая, как клетка с попугаями. Ну что, разве плохая тема? К черту ваших жен в ситцевых капотах! Задушите канареек и уезжайте в Вену. Это город для вас. Пейте там, плачьте на судьбу проституткам, шляйтесь по рынкам, возвращайтесь в свою комнату на рассвете, когда пахнет цветами и капустой, – и вы напишете великолепную оперу.

У Оскара задрожали руки.

– Он пьян, – сказал я тихо и отодвинул стакан Сташевского.

– Сидеть здесь глупо. Сосать настоящий на клопах коньяк и хныкать о загубленной жизни. Подходит смерть, и жаловаться на бога не приходится.

Он стукнул кулаком по столу.

Лакеи насторожились. Далекая зарница загорелась и погасла над морем.

Оскар вдруг заторопился и снял очки.

– Не кричите, Сташевский, – сказал он и оглянулся. – Помолчите, ради бога, десять минут. Не перебивайте, я сейчас расскажу вам о хорошей жизни.

Глаза его сузились, заблестели. Голос стал глух и слегка задрожал. Медленно пустело кафе.

– Да... еще мальчишкой, – тихо, будто припоминая, сказал Оскар, – у меня была одна мысль – создать такую музыку, чтобы кружилась голова. С детства у меня были длинные пальцы, пискливый голос и дерзкие мысли. Вырос я среди амбаров, где на три вершка лежала белая пыль и до потолка были навалены мешки с житом. Мой отец держал хлебную ссыпку. У нас в доме стояли конторки, и мои братья горбились над пудовыми гроссбухами, вписывая туда сотни и тысячи цифр. Бухгалтерия! Копейка должна сойтись с копейкой. Поэтому бухгалтера обычно такой мелочной народ.

Потом классическая гимназия, двойки, детские пороки, потные руки, замазанные чернилами. Я любил слизывать их языком, – они очень кислые и стягивают кожу.

Мать с тощим узлом волос на затылке, в башмаках с резинками, всегда с таким лицом, будто она выпила полынной настойки. Да, собственно, радоваться было нечему. Братья ходили в плотных коричневых парах, на коленях у них висели мешки, из их комнаты воняло прелыми носками и креозотом, – у старшего была чахотка. Я их ненавидел.

Отец был солиден, молчалив и зол. Он носил очки и острые усы, как у любимого кайзера. Я ведь немец из колонистов, из этого рыжего, крепкого и злого кулачья! Из меня отец хотел сделать коммерсанта.

– Я хотел бы музыки, отец!

– Музыка? Болван! Ты хочешь учить барышень и играть танцы на маскарадах? Ты хочешь быть тапером, скотина!

Я был слаб и часто плакал. У меня уже тогда дрожала голова. Отец донял меня. Но я все же выбрал лучшее занятие, чем коммерция. Я стал учителем.

Потом случился брак. Как, почему – видит бог, не знаю. Жена – анемичная «фрейлен» из богатого дома. Она привезла в мою комнату розовую пудру, канарейку Мицци и запах женского пота. До сих пор я дрожу от отвращения. А эти нудные гости и родственники, обеды в столовой, где вечно какой-то желтый свет и нестерпимо пахнет луком из кухни.

Женившись, я сделал необычайное открытие. Это покажет вам, как я был еще глуп. Я понял, что семейная жизнь приспособлена к тому, чтоб ходили гости, чтоб обедать на клеенке, добродетельно тискать рыхлую женщину и сейчас же после «любви» ссориться из-за больших расходов.

Но ночи были мои. Ночью я вставал, зажигал лампу и писал, усталый от классной вони, от сотен склонений и спряжений. Да... По ночам я писал. Мне не хватало нотной бумаги. Это было как чудо. Я слышал – не смейтесь! – я отчетливо слышал, как облака звучали над землей, фаготы высвистывали бешеный танец, и хлопали от ветра старые знамена. Я писал и слышал, как расцветала под моими пальцами легенда об иной жизни, где солнечные дали открываются одна за другой. Я населял веселыми толпами матросов и цыганок черные гавани. Выстрелы пистолетов сливались в барабанную дробь, и колокола качались и гремели во славу средневековых весен. Я понял, что значит восторг. Вы знаете это слово – восторг? – крикнул он и встал. – Я писал обо всем: о горечи любви и величии непередаваемого, о боге и вечной жажде перемен.

Он сел и надолго замолчал.

– Потом... – сказал он упавшим голосом. – Э-э, да что потом... Директора театров, рецензенты, обиженное молчание жены, черствая булка за столом, переводные экзамены, тошнота.

Он поморщился, отыскивая в кармане папиросу.

– Вы знаете, что мне говорили? «Ваша музыка слишком фантастична и беспорядочна. Ваша музыка напыщенна. Поставить оперу трудно». Были, правда редко, любезные отказы. Обычно же отказывают по-хамски. Кое-что я играл на концертах, но это было мучительно. С утра оттирать на сюртуке пятна, завязывать галстук, уходить на концерт раздраженным и слушать жидкие хлопки. Стыдно! В газетах писали: «глуховатость тонов, отсутствие музыкальной механики». Вы слышите, – механики! Талант – как горчица к шницелю, а выше всего – «звуковая механика».

Были добродушные насмешки друзей. Они злее, чем самые злые насмешки родных. Тот же сонный покой и скука в глазах жены, дрянное вино, дешевые рестораны и несколько вас, молодых, – вот и все, что осталось.

Я побежденный, но я не сдамся, ибо я – победитель.

Широко шумел ветер, разбрасывая по столикам листья каштанов, уже тронутые ржавчиной.

Мы вышли молча. Шумели ночь и море, и девушки, не знавшие любви, шепотом звали за собой. Под ногами шуршала листва.

## О творчестве

Я проснулся от гула в печной трубе. В саду слонялся сонный день, кутался в дым, тускло светился в подмерзших лужах.

Была такая тишина, будто весь город спит. Я сел к столу и написал несколько строк. Я толком не знал, о чем я буду писать. Обо всем. Об этой осени, о том, что кровь туго бьется в сердце и мокрый песок в саду пахнет зимой.

Мать никогда не знает, каким будет ее ребенок. И я знаю только одно – я хочу писать. Я слушаю, как далеко и сердито трубит пароход в открытом море, я слушаю свист ветра в голых сучьях за окном. Мои руки зябнут. Я прислоняюсь спиной к теплой печке и, кутаясь в легкое пальто, пишу обо всем, что мне приходит в голову.

Все, что я пишу, – баловство. Так говорит Сташевский. Но из этого тумана рождаются иногда простые и свежие образы. Я знаю это, и слова Сташевского проскальзывают мимо, не задевая сердца. Я могу писать обо всем, что мне хочется. Почему рассказ должен быть не меньше двух страниц? Пусть он будет в одну строчку – от этого он не станет хуже.

Туман стоит зеленой морской водой, рыжая осень осыпается в переулках, и глаза женщин темнеют от любви к крошечным детям.

Я пишу о сером и теплом вечере, когда от пасмурной воды еще сочится запоздалое тепло и запах подводных трав, о капризах детей с изумленными глазами. Все это небрежные слова, наброски, но эти образы преследуют меня.

Я пишу о теплом женском дыхании, сумраке приморских кафе, о Шелли, о снежной музыке Грига, о желтых берегах Эллады и смерти Байрона. Судорожно, словно боясь опоздать, я бросаю эти мазки из слов.

В лабораториях университета я наблюдал процесс кристаллизации. Из мутного раствора слагаются тонкие плоскости и растет прозрачный и твердый кристалл, преломляющий солнце. То же и со мной сейчас.

Каждое утро меня будит гомон воробьев. Я чувствую, как еще по-мальчишески молодо мое тело.

Алексей спит долго, зарывшись головой в подушку.

Мы все трое студенты. Мы вместе сдаем зачеты и работаем в вечерней газете. По вечерам Алексей считает строчки, а по утрам идет браниться из-за гонорара. Чаще всего он пишет обширные фельетоны о вещах злободневных – краже Джоконды, полетах Блерио и постройке Амурской дороги. Газетная работа выхолостила его слова, отбила углы, и он одинаково легко пишет передовицы, рецензии и рассказы о прелестях бродячей жизни. Вдвоем мы сочиняем длинейший роман с продолжением – «Бутылка джина в Одессе». Все это печатает старый, страдающий астмой издатель Днестропуло, прижимистый бритый старик.

Он терпит. Лишь изредка, перечитывая сотое продолжение, он кричит, притворно раздражаясь, в пространство:

– Что будет с этого романа в конце концов?! Что, я спрашиваю? Они далеко пойдут, эти молодые люди, – прямо в арестантские роты!

Нас связывает эта жизнь. Мы болтаемся большей частью без дела, просиживаем дни в трактирах, научились по цвету дыма отличать английский уголь от антрацита, а по оснастке – шхуны от баркантин и трамбаки от барков. Их изъеденные червем кузова полощутся в крепком рассоле порта. Особенно хорошо и просторно бывает в дождь, когда дым прилипает к влажному молу и в камбузах беспечные коки варят крепкий кофе.

По вечерам бульвары розовеют от пыли и заката. Исполинской медалью светит луна, и надрываются скрипки под полосатой парусиной баров.

Ночь, как тихий фонащик, зажигает огни, ветер гуляет по черному небу, и оскорбленно кричат пьяницы, вышвырнутые из кабаков.

Я много пишу. Меня волнуют самые звуки слов.

## Смерть Оскара

Утром ко мне пришел Сташевский: умер старый Оскар.

Старику не везло – незадолго до смерти он потерял в трамвае единственную партитуру своей оперы. Он был потрясен и пил запоем несколько дней.

Мы пошли к Оскару. На сырой лестнице было темно и пахло мышами. Желтели стены, выкрашенные масляной краской, захватанные грязными пальцами.

В квартире стоял запах уксуса и нашатырного спирта. В передней на подзеркальнике спал жирный кот.

Оскар лежал на письменном столе в вицмундире, с новеньким орденом на груди. Лицо у него пожелтело, лишилось той нервности, что делала его привлекательным при жизни. Горели три свечи. Я взглянул на их желтые язычки и вспомнил почему-то вокзалы поздней ночью, когда пассажиры спят на темных скамьях и диванах, а за широкими окнами наливается сизая холодная заря.

Сташевский, бледный, с перекошенным лицом, долго смотрел на Оскара, и брезгливая усмешка подергивала его губы.

– Да, брат ты мой, – сказал он медленно. – Не люблю эти сентиментальные таланты. Слякоть!

На стене висели портреты Бетховена, Грига, Моцарта, Баха.

Мы принесли цветы. Белые и упругие, лежали они около рук Оскара, пергаментных и сухих. Только теперь я заметил, какие это были тонкие руки.

Было слышно, как на кухне кто-то выговаривал кухарке. Болела голова, ломило в висках, и хотелось поскорее уйти. Сташевский подошел к окну, перелистал пыльные ноты, посмотрел на портрет Баха на выгоревших обоях. Мы поцеловали Оскара в большой выпуклый лоб и вышли.

Ветер сыпал в глаза пыль, шелуху подсолнухов и сено. Преследовал запах уксуса и сладковатый смрад тления.

– Пакость, – сказал Сташевский, помолчал и сплюнул. – Какая пакость!

Хоронили Оскара на следующий день. Все было буднично и бедно. За гробом шла жена в дешевом трауре, черный креп блестел на ее шляпе, как слюда, шел его брат – немец с веселыми глазами, старухи – любительницы похорон, гимназисты и факельщики в брюках с серебряными лампасами, в рыжих чудовищных сапогах. В стороне шли его ученики – Сташевский, Алексей, я и художник Винклер, тоненький, как девушка.

Сухощавый пастор, в элегантном пальто с бархатным воротником, раскрыл молитвенник и прочел по-немецки несколько длинных и скучных молитв. Пасмурное небо сулило дождь.

Битый кирпич стучал о крышку гроба.

Когда могилу засыпали, сразу стало легко.

– Ну что ж, – сказал Сташевский, – стоило жить, чтобы так умереть.

Родные ушли. Винклер написал на сосновом кресте синим карандашом:

Quid aeternis minorem  
Consiliis animum fatigas?

Зачем вечными замыслами ты томишь слишком слабую душу?

Темнело. Город рокотал вдали трамваями, гудками паровозов, грохотом ломовых дрог – прекрасными звуками жизни.

## Жучок

Комнаты, улицы и пустые дворы пахли осенней листвой, и море шумело, как далекая память.

Осенью нам повезло – у Алексея завелись деньги. Мы втроем – Алексей, Сташевский и я – решили пойти в море со знакомым «рыбалкой». Он был черен и худ, как портовый босяк. Звали его Жучок. Баркас его – одномачтовая байда – совсем обветшал, – просмоленный парус весь цветился заплатами.

Жучок жил на Кривой косе. Ехали к нему степью. На бахчах желтыми горами лежали перезревшие тыквы. Белая пыль дымила из-под копыт лошадей, над балками розовело ленивое солнце. Внизу лежало море, прозрачное, как расплавленное стекло.

Хата Жучка стояла на песке. В ней пахло мелом и хлебом. Тихое море шептало за плетеным тыном.

Жучок был бобыль. Поставили погнутый самоварчик. Дым уходил высоко в небо. Мы долго пили крепкий кирпичный чай. Оранжевый вечер дремал над песками. Далеко пели девушки старую песню:

Ой, в Ерусалиме рано зазвонили, —  
Молода дывчина сына породила.

В хате Жучка, среди бумажных пионов, икон и гравюр неуклюжих кораблей, мы долго обсуждали плаванье.

Решили идти па Малую россыпь, к плавучему маяку – брандвахте.

Жучка мы знали и уважали давно. На косе он слыл за дурачка. За глаза его звали обидным прозвищем «Забродня». Не любили его за молчаливость, за довольство малым, за то, что на «рыскливой» и старой байде он решался выходить на несколько дней в открытое море.

Была давняя вражда между «бережными» рыбалками, осторожными и богатыми, и теми беспутными, «рисковыми», которые выходили ловить на самую «глыбь». Много «рисковых» гибло каждую осень во время ловли белуги. Улов они продавали за гроши грекам-скупщикам и пропивали заработок в дощатых кабаках.

Жучок был рискованной.

В прошлом году на Илью неожиданно задула трамонтана, ветер мчался глубокими порывами, крутил воду и нес полосы черных дождей. Рыбаки стали спешно уходить домой. Шли густо, парус за парусом. Один баркас перевернуло. Все шли своим путем, только Жучок, рискуя потопить свою ветхую байду, как-то извернулся, подошел и подобрал людей. Возвратился он мокрый, посиневший, с трясущимися от холода руками. Развесил сети на тонях и поплелся домой, словно ничего не случилось, словно не спас двоих людей. Старые «бережные» рыбаки, морщинистые, с запеченными от солнца лицами и хитрыми глазами, еще долго говорили по косе:

– Дурной человек, бог его знает. Хоть бы по трешке с них взял.

С утра задула низовка. Море пенилось и шумело в красных берегах. Хлопали темные паруса. День, отлитый из желтого стекла, стоял над бахчами.

Шхуна клюнула осмоленным носом и тяжело пошла в море. Дождь брызг бил в лицо, высоко качались борта, плакали чайки, и громыхала по дну якорная цепь. Казалось, звенело все – и ветер, и чайки, и волны.

Я лежал на носу, на кубрике, вдыхал запах рыбы, шедший от бортов и сетей, и сознание дикой свободы наполняло меня. Я лежал, курил и ждал, когда солнце сядет в волнах и туманах

там, далеко, у диких берегов Тавриды. Там – в вечерней мути – седая Керчь, обрывы Киммерии, поросшие чабрецом, одинокие маяки на песчаных побережьях, а дальше – в солнце и дыму – нарядные порты, яркие лица женщин, океанские пароходы, пестрые иностранные флаги, запах богатых земель и преддверье Архипелага.

– Кидай бакан! – закричал Жучок.

Черный флаг бакана замотался на волне. Далеко полетел ржавый якорь на мокрой цепи.

Быстро постукивая деревянными поплавками о полированный борт, бежала в воду черная сеть. В сером небе горел зеленый огонь плавучего маяка. Ужинали в трюме. Мы жадно ели слегка зачерствелый белый хлеб. С жареной рыбы капало масло, маслины жгли десны.

Я выглянул за борт, где в черной воде сжимался и разжимался огонь маяка, прислушался и сказал:

– Великая меланхолия моря.

Жучок покрутил головой и засмеялся:

– Чудно!

После ужина Жучок вытащил из каюты пыльный фонарь, зажег и повесил на мачту. Робкий свет мигнул в суровом небе.

Наползали тучи. Вода пошла чернью. Медленно гасли в ней белые зерна звезд. Шхуна дергалась на дребезжащей цепи. На борту ее белела корявая надпись: «Господи, храни в море плавающих».

Среди ночи я проснулся. Не было вокруг ни моря, ни неба, ни шхуны. Глухая тьма качалась над нами, и кровь внятно звенела в ушах. На носу мигал огонек папиросы. Жучок не спал.

Я пробрался к нему, закутался в пальто и лег рядом.

– Сколько времени? – спросил он сиплым голосом.

– Половина второго.

– Через час ломать будем. Как только зачнет сереть.

Мигнул маяк, и шхуна качнулась на черных цепях.

– Недужный я стал, должно к старости, – негромко пожаловался Жучок. – Грудь заложило. Всю ночь не спится, куришь, свою думку думаешь... Люди про меня брешут – штундист, духобор, Евангелие читает. Евангелие у меня древнейшее. Тут по степу один человек ходил – ни монах, ни странник, – не поймешь, что он такое. Он мне Евангелие продал. Да... Прочел я в нагорной проповеди: «Блаженны нищие духом; ибо ваше есть царствие божие». А где оно? На море, вот где. Иной раз задумаешься – есть ли оно, царствие небесное, райский край? А как глянешь на море, небо над ним ясное, воздух легкий, – думаешь, есть. А может, есть еще и получше моря. Царствие божие далеко, а бога, брат, не видать... Матрос один на косу воротился из флота, – на бога, говорит, рыбачки, теперь не надейтесь, бог теперь в пенсне, вроде, говорит, как профессор, боится руки об вас замарать.

– Да, – сказал Жучок и сплюнул. – Рассказывают всякое. Брала меня раньше злоба на людей: что они из себя сделали – смотреть страшно. Живу я по-своему. Думок много. Боюсь, до смерти всего не передумаешь. А на людей сердиться – пустое дело, себя только портить.

К полудню сорвался ветер. Маяк закрыло холстом дождя. С плеском и гулом пронеслись шквалы. Мы натянули рваные клеенчатые плащи. Шли по ветру в соседний порт, – домой пути не было. К полудню шквалы уже неслись сплошными стенами, мы мчались в воздушных коридорах между ними, и тучи легли темным дымом на сизую воду. Мокрый ветер бил в лицо, синие рыбы блестели и прыгали в трюме, и соль саднила на лопнувших губах. Шхуна тяжело оседала, по корме хлестала жидкая пена.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.